

АНАТОЛИЙ КУЗНЕЦОВ

СОВЕСТЬ

Раз тридцать, может быть, если не больше, я слышал, как мой дед Федор Власович рассказывал свою историю ухода из родительского дома. Рассказывал, когда приходили гости, рассказывал приятелям по второму и третьему разу. Особенно, когда случалось выпить рюмочку, он возбуждался и, перебивая разговор, без всякой связи вдруг восклицал: «А вот послушай, как я в молодости ушел из дому!». Краткая эта история заключалась вот в чем.

Дед родился и вырос в селе Шендеровке, Каневского уезда, в какой-то отчаянной крестьянской семье, с одиннадцатью детьми, отцом пропойцей, жившей в полуразрушенном курене, и спасали их коровенка, да две лошади. И дед рассказывал, что когда ему исполнилось шестнадцать, то ли семнадцать лет, послал его отец в ночное пасти коней. «А я взял этих коней, — говорил дед, — и погнал их, и погнал их в город, и продал на ярмарке. И с той поры домой больше не вернулся». Здесь дед умолкал и странным взглядом, с каким-то глубинным, больным вопросом смотрел на собеседника, а тот, озадаченный, бормотал что-то вроде глубокомысленного «М-да...».

Никто не спрашивал, и я не спросил, да если бы и догадался спросить: а зачем, собственно, дед рассказывает ЭТО? — думаю, что он сам не нашел бы внятного объяснения. Из него это просто выпирало, и все. Жило в его естестве, давило и естество делало попытки как бы изрыгнуть, выбросить это. При чем любопытно, что дед никогда не продолжал, не делал оценки, и невозможно было понять, что из этого следует: «Смотрите, какой я был удалой молодец» или «Какой я был подлец, какая шкура: семью зарезал ведь, зарезал отца-мать и детишек малых». Нужно понимать, что значила лошадь для крестьянской, да еще такой нищей и многодетной семьи.

Нет, дед никаких оценок не делал; рассказывал просто факт. Может быть, подсудно, подсознательно ждал, что кто-нибудь оценку сделает? Именно подсознательно уже жаждал какого-нибудь суда, приговора, меры наказания и искупления. Может быть, тогда тяжелый, как камень, факт полегчал, растворился бы и забылся. Дед был, конечно, верующим, на исповеди ходил, но, по-видимому, и исповеди, и отпущения грехов не помогали. Доказательство тому: когда ему уже было под девяносто, и

и он впал в старческое детство, уже почти ничего не помнил из своей жизни, факт об украденных у родителей конях выпятился у него в сознании вообще чуть не на первый план. Он постоянно рассказывал его таким же как он глубоким старикам, да так и умер с тем в доме для престарелых где-то под Полтавой.

Помнится мне и пьяница-газетчик на строительстве Каховской ГЭС по фамилии Бурыба, у которого на совести был свой, так сказать, «факт-фикс». В прошлом он был герой войны, фронтовик, тапакст, что подтверждали и многочисленные жуткие шрамы, и целая гроздь медалей и орденов. Но, напиваясь, он из всех своих военных походов, как заведенная пластинка, рассказывал всегда только одно и единственное: как они, танкисты, насильовали немок в Пруссии.

Ворвавшись первыми в какой-нибудь городок, танкисты его Т-тридцатьчетверки первым делом бросались по немецким домикам в поисках ценностей и женщин. Потом отводили танк метров на сто пятьдесят и прямой наводкой разносили в щепы домик вместе с ограбленными и изнасилованными немками в нем. «Раз-дол-бали — и пошли дальше, во как, брат!» — заканчивал он, грохая кулаком по столу.

Он много раз повторялся с большой точностью, никогда не путал деталей. Это в нем клокотало, жило неугасающим огненным сгустком, и он — совершенно точно так же, как мой дед — испытывал, по-видимому, непонятную, невыразимую для него самого потребность это рассказывать, рассказывать, рассказывать, без всякой опять-таки оценки, и ошарашенные собутыльники не находились тоже ни на что другое, кроме глубокомысленного «М-да...».

...А скажите, вам не приходилось вдруг резко переворачиваться или садиться в постели от ни с того, ни с сего вдруг явившегося воспоминания о чем-то скверном, нелептом в вашей жизни? В постели, потому что чаще всего такие образы являются в момент, когда засыпашь, или во сне, — когда сознание находится в состоянии расторможенном, представленное самому себе.

В это время оно иногда играет с нами шутку: выкладывает нам то, что мы хоторможенном, предоставленное самому себе. забыть, или ловко сплетенной сетью логических натяжек и софизмов давно уже по-

крыли, погребли, утоптали и утрамбовали. Кто бы мог подумать: а оно, оказывается, живет.

Если вы скажете, что с вами никогда, ни разу ничего подобного не случается, то позвольте усомниться: не кривите ли вы душой? Разве что вы просто еще очень молоды. Молодая совесть довольно ленива и толстокожа; мучает она все больше с возрастом. К такому заключению я пришел, наблюдая других людей, наблюдая самого себя. У меня, кажется, нет одного такого ведущего факта-фикс, как у деда Федора Власовича, или у героя-танкиста Бурыбы, но не в меру услужливое, все, оказывается, помнящее, сознание время от времени вдруг ни с того, ни с сего, казалось бы, преподносит мне какой-нибудь неблагоприятный факт из моей жизни — во всей его объемности.

Это что-то вроде архива, кладовой или склада в нас, с надписью — хотя бы вроде этого популярного — «Никто не забыт, ничто не забыто». Даже если нам самим кажется, что забыто накрепко и навсегда. В нужный момент, — или вернее, в НЕнужный момент оно может выскочить и встать перед глазами живее живого.

Поясно, пожалуй, теперь собственным примером — только одним, да и то самым безобидным, отгаки для изложения которого мне хватает, главным образом и наверное потому, что дело очень давнее, случилось, когда мне было 17 лет. Я не помнил этого, совершенно не помнил, как его и не было, на протяжении лет двадцати этак. Потом однажды — как выстрел, как удар в лицо, это полуприснилось, полупривиделось мне в момент, когда я засыпал, и я подскокил и сел с мучительным стоном. — До микроскопических подробностей, до, действительно, воздуха, погоды, цвета, запаха, звуков — все память выдала в неприкосновенности.

То было в 1947 году, в эпоху, когда «архипелаг ГУЛаг» достигал кульминационных вершин своего разбухания. Человека хватили за одно слово или случайность. Портниха шила и, не глядя, воткнула иглку в газету — случайно попала в глаз портрета Лазаря Моисеевича Кагановича — загремела в лагерь. Сторожу приказали перенести в клуб огромный гипсовый бюст Сталина, он обвязал его веревкой, взвалил на спину — и получил срок за то, что провокационно и контрреволюционно набросил петлю на вождя. И так далее.

Я, как всякий молодой человек, конечно, курил. Мама моя, как всякая мать, ко-

нечно, на меня за это кричала. Я курил, пряча от нее. Однажды, придя с работы раньше, она застучала меня в сенях с папиросой. Я, увертываясь, выскочил на крыльцо, она за мной с нотациями, да так громко, чтобы и соседи, и улица слышали, и чтобы мне стало стыдно. А я, так же громко, на всю улицу, ответил: «А товарищ Сталин — курит!». Мама так и поперхнулась. Сегодня это смешно. Тогда это было — страшно. Побледнев, дрожащим голосом она что-то забормотала, что товарищ Иосиф Виссарионович Сталин — человек уже в возрасте и он начал курить при старом царском режиме, это совсем другое дело, а я живу при советской власти, которая мне все дала... Это говорилось так жалко, так перепуганно, для людей, ДЛЯ УШЕЙ улицы, которые жадно слушали. Но победа была, конечно, моя. Обошлось, это...

Но скажите, какая юная дрянь! Какой готовый, оформленный, крутленький Павлик Морозов! Какая во всем этом безграничная мерзость! Юная, розовощекая мерзость...

Так вот, именно только к примеру, эта сценка начисто выветрилась из моей молодой головы на срок в целых лет, этак, двадцать — а потом вдруг из глубины памяти явилась, как удар, так, что я застонал. И с того началась ее вторая, нет, совсем не наэойливая, наоборот, очень скромная, строго моей совестью осужденная, конечно, но объективно отпечатанная на страницах моей жизни краской несмываемой, несчищающейся. Было? Было. Не забыто? Оказывается, НЕТ.

...Да я говорю о совести. В сегодняшнем практическом до абсурдов, материализированном до, порой, фарсов и свинства мире говорить о совести некоторым представляется безнадежно старомодным, или смешным, или наивным. Напрасно. Это они сами очень наивны.

Пользуясь выпавшей мне возможностью сравнить Запад и Восток, я нахожу, что в советском обществе положение с такими вещами, как совесть, доброта, порядочность, честь — неизмеримо тревожнее, чем где бы то ни было. Этими словами в советском обществе часто называются явления, диаметрально противоположные тому, что эти слова означали раньше, и что единственно они могут означать. Героями называют последователей Ленина-Сталина, по вине которых в стране произошли трагедии, самые крупные во всей ее истории. Якобы подлинной «социалистической» (в кавычках) добротой называется умение быть безжалостным. Слово «порядочность» почти исчез-

ло из обихода. Это печально, но это совсем не значит, что сами явления могут исчезнуть. Нет, они ни приказным, ни декретным, ни агитационно-пропагандным путем, ни путем лжи перед другими или лжи перед самим собой — не уничтожимы.

Совість — это нечто такое, что существует независимо от нашей воли. Это сильнее нас. Управлению не поддается. Временному искривлению, временному молчанию, временному давлению — да. Но только временному. Зато с тем большей силой, как вышедшая из-под контроля пружина, расправляется потом, и мстит, и бьет. С совестью шутки плохи — эта истина, старая, как мир, но она и вечна, как мир, не стоит забывать об этом.

Совість никакому управлению, включению там или выключению, — не поддается. И, между прочим, одним из парадоксов людской цивилизации мне лично кажется то, что в изучении неживой природы мы дошли до порядочных-таки глубин, и можем похвалиться знанием мельчайших движений нейтронов и позитронов, но о кардинальных — важнее которых, может быть, и нет — явлениях в человеческой личности как, скажем, совесть, — знаем не больше, чем древние ассирийцы или вавилоняне. А то, может, и меньше?

Но ведь от того, что мы этого не знаем, что мы это игнорируем, что мы над этим, в невежестве своем, еще и смеемся, происходит, как мне кажется, ЛЬВИНАЯ доля бед людских.

Ну, хотя бы вот такое, в чем я (наперед говорю) глубоко убежден и могу доказать и объяснить, как на ладони, но изложенное в виде просто краткого тезиса: «Совість не поддается управлению, не поддается полному выключению, заглушению или обману» — многие с этим согласятся ли? И уж тем более, многие ли из молодых, вступающих в жизнь, знают это, понимают и мозгом, и душой как серьезнейшую непреложную истину? Глупая ошибка дедов, повторенная глупыми отцами, продолжает повторяться глупыми детьми, затем детьми их — каждый что-то там слышал о совести, но не верил, потом, может, убеждался на опыте под конец жизни, что это серьезно, но уже было поздно, а когда пытался научить других — ему уже не верили. И так поколения за поколениями повторяют, как по писаному, все одно и то же.

Один из моих самых простых, этих так сказать «учебно-наглядных» примеров был с героем-фронтовиком, танкистом по фамилии Бурыба, которого я знал лично уже как

беспросветного, страшного алкоголика, который, напиваясь, из всех событий войны постоянно, маниакально рассказывал только одно: как в Пруссии они, танкисты, врываясь первыми в какой-нибудь городок, бросались по домикам грабить и насиловать немок, а потом, немного отведя танк, прямой наводкой разносили в щепы и домики, и немок в нем. Вечно заросший щетиной, какой-то изломанно-сгорбленный, с дикими, по-звериному свергающими глазами, с трясутыми руками алкоголика, этот Бурыба производил тяжелое впечатление, и кончил он свою жизнь где-то всего лет в сорок с лишним довольно бесславно: лежащего пьяным поперек дороги, его переехал бульдозер, возвращавшийся со смены без света.

В связи с этим такой вопрос. Если бы ему, молодому, в его лет шестнадцать-семнадцать-восемнадцать показали, как на экране, каким он будет в сорок, какой он главный подвиг совершит в жизни, как будет о нем рассказывать событильникам в заплеванной пивной, и как он закончит свою жизнь, выйдя из этой пивной, — не пришел бы он в ужас, юный мальчик?

Допустим опять, что после демонстрации такого фильма отец бы сказал ему: «Знаешь, постарайся не делать в жизни бесчестных и подлых вещей. Ты можешь избежать военно-полевого суда, можешь ни от кого не услышать даже полслова упрёка, но это чепуха. Главный суд в нас. Он казнит страшнее любых придуманных людьми судов и мер наказаний. И, главное, его избежать невозможно, он не выключается, не заглушается, не обманывается». И, может быть, в данном случае, данный человек, юный мальчик по фамилии Бурыба, прислушался? Может быть, он иначе бы жил? Может быть, и не грабил бы, и не насиловал, и не разносил дома с людьми прямой наводкой? А что? Может быть, и сегодня он бы жил?

Так нет же, кинофильма о своем будущем он видеть не мог, а тирады насчет совести он, возможно, слышал, и не раз, так, краем уха, не придавая им значения, а то и просто зубоскаля: «Ха-ха, нашли чего нам говорить: о совести! Наивные дураки!» Напрасно. Сам он был наивный дурачок.

Это, повторяю, случай наиболее простой и прямолинейный, который для классификации и можно определить, если хотите, с довольно мрачной иронией, как «учебно-наглядный». Далее я хочу привести случай чуть сложнее.

Многие задаются вопросом: что сейчас

поделывают былые сталинские энкаведисты, все эти следователи, начальство сталинских тюрем и лагерей, эти садисты, руками которых как раз конкретно и уничтожались миллионы? Частично они сами себя стреляли, судили, замучивали, естественно, как пауки в банке, ликвидировались самим хозяином, подобно Ежову, в этом проявилась какая-то справедливая месть жизни. Но те, что уцелели, что остались безнаказанными, ушли на персональные там разные пенсии — и живут себе по сей день припеваючи? И совесть их не мучает, и не рассказывают своих подвигов, как Бурыба, потому что с самого начала так убили в себе эту самую совесть, что и следов не осталось? Мучает

разве что иногда страх: как бы все ж наказание не вышло? Я лично знал ряд таких... язык не поворачивается сказать «людей», одно время они меня очень интересовали, пока я не убедился, что в подавляющем большинстве они походили с ума.

И это такое сумасшедствие, при котором очень плохо. Им вечно плохо, их все без исключения мучает, и в этом виноват весь мир, а расстрелять или посадить мир у них уже как-то нет возможности, и от этого еще хуже — не жизнь, а постоянное жаренье на сковороде. Одного такого типа я наблюдал более года, живя с ним в одной квартире.

(Продолжение следует)

АНАТОЛИЯ КУЗНЕЦОВ

СОВЕСТЬ

(Начало см. в № 15).

Однажды я снял нелегально комнату в центре Москвы, на самой улице Горького, у Моссовета. Это была квартира коммунальная, с общим коридором и кухне, но — только три съемщика. Две соединенные комнаты занимал сталинский следователь в отставке по фамилии Кутовенко, с женой. Две другие комнаты — дряхлая старушка со старой же дочерью-вдовой, семья какого-то умершего своей смертью министерского чиновника — они-то и сдавали «втихаря» от милиции одну из своих комнатушек, подрабатывая к пенсии. Больше комнат в квартире не было, но была кладовка с крохотной амбразуркой-окошком, достаточная, чтобы в ней поместилась кровать и табуретка. Там жила, в качестве третьего съемщика, старая одинокая актриса на пенсии, маленькое забитое, несчастное существо, жившее единой надеждой на то, что ей, может быть, дадут однокомнатную квартиру.

Кутовенко работал следователем НКВД всю жизнь, и это был как раз случай, когда никакое внешнее возмездие палача не коснулось. Наоборот, он имел приличную пенсию, две комнаты на самой улице Горького, окнами на Моссовет. Он был худой, какой-то высушенный, мощеподобный, на восковом лице углями горели шизофренические глазки. При стукке входной двери или малейшем шорохе в коридоре он высовывал голову из комнаты и сверлил глазами. Или его бочкоподобная, вся в каких-то бородавках и наростах жена. Они стояли один другого. Я никогда не видел, чтобы они выходили погулять, только жена кратко отлучалась в магазин. Дома, все время дома, как в добровольном заточении. Кутовенко ходил по коридору, то изучая туалет, то обследуя кухню, и бормотал:

— Я вас научу уважать советские законы! Я вам покажу социалистическую законность! А за решеточку не хотите? За решеточку! За решеточку!

Мои старушки-хозяйки прятались от него, и мне советовали не говорить с ним, не обращать внимания: человек больной, что там! Он, в основном, прицепился к актрисе в кладовке. Он написал грозные расписания: когда кто должен подметать коридор, вычислял до десятых долей копейки, кто

сколько обязан платить за общую лампочку, у дверей кухни висело много бумажек с расписаниями, и старенькая актриса путалась и забывала о своей очереди. Кутовенко грохотал кулачищем в ее дверь и орал: «Я тебя научу правилам социалистического общежития!» «За решеточку!» Так он все время метался, следил, окруженный нарушителями, врагами, ужасным миром. Улыбаться он просто не умел; кажется, он не знал даже поводов, по которым люди улыбаются. Это был сгусток мрака, мучительного, отвратительного общего состояния. Даже жрали с женой они что-то такое ужасно отвратительное, от чего, когда жена готовила, по квартире шла такая удушливая вонь, что нечем было дышать. Среди ночи из-за их дверей доносились крики, кошмары их душили, возможно, а то и что-то вообще подобное звериному вытью. Ну, знаете, не позавидуешь такой жизни. Уж не то что счастливой, но даже просто хоть немного выносимой я бы затруднился ее назвать. Формально же, повторяю, наказаний никаких Кутовенко не понес, наоборот, формально все так хорошо: вышел вчистую на приличную пенсию, безбедная старость, жилье на улице Горького, два квартала от Кремля. Но я бы не хотел так кончать свою жизнь, и не знаю, кто бы хотел.

Не хочу сказать, что ВСЕ ОНИ кончают, как этот Кутовенко. Конечно, вариантов и вариаций множество. О них я еще расскажу. Но случай Кутовенко статистически, кажется, наиболее распространен и типичен. И не кажется ли вам, что тут есть над чем задуматься?

В отличие от множества чересчур умных скептиков, которые убеждены, что говорить сегодня о совести — смешно, анахронизм, — я так не думаю. Это никогда не было анахронизмом — и не будет.

Очень заблуждается тот, кто полагает, что с совестью можно не считаться, что ее можно поворачивать и так, и этак, или вообще из своей жизни упразднить. Раньше я приводил иллюстрации к тому, что совесть не поддается управлению, не поддается полному выключению, заглушению или обману. На время, может быть, но только на время. Зато с тем большей силой, как

вышедшая из повиновения пружина, расправляется затем, и бьет, и мстит.

До самой смерти людей мучают воспоминания о когда-то совершенных гнусностях. Если у мозга хватает сил бороться с ними днем в бодрствующем состоянии, они являются ночью во сне, когда наша воля, и наши приказы, и самоубеждения бессильны. Они многих палачей приводят к безумию. «Когда боги хотят наказать — лишают разума», — говорили древние.

Одно время, живя в Советском Союзе, я специально занимался вопросом: а как поживают уцелевшие, повиходившие на персональные пенсии бывшие сталинские следователи, энкаведисты, тюремщики? Я думал, что хорошо. Но с удивлением убедился, что в подавляющем большинстве они просто походили с ума. Кто ярко выражено, вплоть до помещения в сумасшедший дом; кто просто домашний, несносный для окружающих шизофреник, параноик, причем это не те счастливые дурачки, которые всему рады, безмятежно смеются, а несчастные, днем и ночью мучимые чем-то изнутри: им плохо, плохо, плохо, и все вокруг плохо, и улыбаться они не умеют. Третьи, еще тоньше: иной кажется, и выглядит нормальным, но при более пристальном рассмотрении оказывается клубком маний, типичных психических маний, плюс некоторый идеологический мертвый автоматизм, плюс автоматизм физиологический, — а ЛИЧНОСТИ нет. Мешок, полный маний и автоматизма, но не живая личность. Какой-то НЕчеловек.

Это мое сутобо личное мнение, но мне все больше кажется вероятным, что в будущем психиатрия коснется серьезно многих фактов в человеческой истории и внесет в их освещение и толкование крупные коррективы. Например, Сталин с точки зрения психиатрии. Ленин с точки зрения психиатрии. Руководящий энкаведист или крупный партиз — с точки зрения психиатрии. И так далее, и поглубже в века, к Грозным, и Неронам, и прочим Иродам, и могут всплыть на поверхность прелюбопытнейшие вещи.

Так вот энкаведисты. В начале шестидесятых годов я задумал написать повесть, позаимствовав название у Чехова: «Дуэль». Два однокашника, два друга детства, из которых один стал чекистом, а другой, так сказать, честным коммунистом. Во время сталинских чисток последний арестован, и его следователем оказался бывший друг. С тем большим садизмом чекист издевался

над «честным коммунистом». Конечно, здесь диалоги, и правда-матка в лицо, и цинизм. Потом, чудом дожив до хрущевской реабилитации, полуинвалид — реабилитированный узнает, что друг-то чекист живет-поживает себе как ни в чем не бывало, имеет дачу, разводит клубнику. Он направляется к нему со старомодным и наивным намерением: вызвать его на дуэль.

Далее, по моему замыслу, следовала встреча, долгий разговор между ними. Чекист, бледный от страха даже не понимал толком, что ему предлагается именно загородная дуэль, а только думал, как сообщить в милицию, что его пришли убить. В общем, видя перед собой ничтожество, мой герой должен был потерять всякий свой запал, отказаться от глупой дуэли: кому и что теперь докажешь? Встать и уйти.

Это была литературная схема из головы. Я знал много прототипов для своего положительного героя, но нужны были прототипы для отрицательного, и то была одна из причин, почему я стал их искать и заниматься ими. Вот тут я и увидел, что, если следовать за жизнью, то мой герой находит не просто ничтожество, а — умышленного, психически больного. От той, какой бы там ни было, личности бывшего друга, которая существовала когда-то — ничего не осталось. Личность давно умерла. Осталась формальная оболочка, мешок, наполненный шизофренией, маниями и рефлексамми, а человека нет. И стреляться — не с кем. С большими не стреляются. Как, если хотите, и судить — некого. Не судят умышленных...

Написанная до половины, эта вещь у меня застопорилась, осталась незаконченной, потому что по ходу работы становилось все более ясно, что и положительно-го-то никакого человека у меня нет, а есть оболваненный — тоже автомат, только иного оттенка. Какая там дуэль — пауки в банке! То, что в процессе борьбы они друг друга так жестоко уничтожали, пытали, морили — в этом можно увидеть одно из проявлений справедливого возмездия жизни. Судьба Ежова, Ягоды или Берии — законченные иллюстрации, к которым слова не прибавишь.

В «Архипелаге ГУЛАГ» Солженицын при разборе показательных процессов рисует и картинку, как лезет на свое место под нарами, выпятив зад, бывший генеральный прокурор Крыленко — гремевший и свирепствовавший в стране как демон, один из первых организаторов показательных про-

цессов, палач, засудивший столь многих, а потом посаженный и ликвидированный сам. Под нары Крыленко влезать было трудно, зад застревал, и Солженицын иронически замечает: «Грешный человек, со злорадством представляю этот застрявший зад, и во все долгое описание этих процессов он меня как-то успокаивает».

Да, они довольно-таки серьезно порасправлялись друг с другом, так сказать, в своем же кругу, своими же собственными руками. Но очень многие из тех, кто формально, казалось бы, избежал возмездия, на самом деле — тоже его не избежал. Вот что меня поражает. Каким-то неумолимым, логичным и неотвратимым способом личность отмирает, остается оболочка, ходячий труп, НЕчеловек.

И в этом смысле, смею предположить, Жизнь гораздо более справедлива, чем мы думаем. Есть ее непреложные законы, вот такие, как, например, соблюдение совести, за нарушение которых она сама, помимо людских кодексов, Нюрнбергских трибуналов — карает так, как не покарает никакой трибунал. Действительно, после людских кар — тюрьм, лагерей и прочее, человек, если выйдет, то может сохранить личность, а то выходит личность еще живее и оформленнее, чем была раньше. Жизнь *) карает же так, что живой личности не остается. Перефразируя Солженицына, я мог бы сказать, что и меня, грешного человека, это наблюдение как-то утешает.

Это ведь не теоретическое рассуждение. К такому заключению поневоле приходишь, наблюдая факты, именно факты. Ко многим НЕчеловекам в Советском Союзе я тогда нарочно обращался с простым, очень простым вопросом в упор: «А вы счастливы?» Это было потрясающе — смотреть и слушать, как отвечают эти автоматы. Примерно так: «Да, я счастлив, что жизнь моя была служением делу построения коммунизма в нашей стране». Ни один не оговорился хотя бы, что где-то там, чуточку и несчастлив. Но и то ведь — что такое счастье? они же ведь этого не знают и даже не подозревают. В простоте душевной даже самые сохранившиеся из них ведь под счастьем понимают право сесть в первом ряду президиума. И — право латать свой разваливающийся мешок-оболочку в правительственном санатории «Горячий камень» в

Пятигорске. Вот их, собственно говоря, представление о счастье.

Я не встретил в своей жизни НИ ОДНОГО действительно счастливого бывшего палача, бывшего чекиста ли, энкаведиста ли, или хотя бы просто старого большевика. Более того, я не видел ни одного такого, чтобы он был в ясном уме, без патологических искривлений, комплексов, маний, психозов.

В Переделкино, где находятся дачи Союза писателей, где я долгое время студентом жил в общежитии, есть между прочим, Дом старых большевиков. Нас назначали туда агитировать, да и вообще каждый может туда придти, посмотреть, поговорить с этими странными существами. Это довольно тяжелая и грустная картина. А ведь людей в прямом смысле слова там нет. Есть тени, повторяющие некоторый набор фраз из газеты «Правда», как радиола-автомат, которую заело, в которой даже не может смениться пластинка. Это оболочки чего-то такого, что когда-то, при иных обстоятельствах, имело шансы сделаться людьми, дожить до старости людьми, но в несчастливый момент пропустило мимо ушей предупреждение, что с совестью шутки плохи. Посмеялись, как над старьем, или там, скажем, религиозным дурманом старого мира: совесть, ха-ха, это еще что такое?

Им подсунули взамен эрзацы: партийная совесть! социалистическая законность! советский гуманизм! коммунистическая мораль! О, эти прилагательные... Жизнь знает одну совесть как таковую — совесть. Без прилагательных. В мире есть одна гуманность — гуманность. Без прилагательных. И кто пытается прицепить прилагательные — расовая совесть, фиделькастровская совесть, хунвейбинская совесть, — тот (чувствуете?) имеет в виду нечто другое, к иной совести не имеющее никакого отношения, а являющееся издевательством над ней. За такие неумные или корыстные попытки жульничать с самой жизнью, она, жизнь, мстит эпически-равномерно как древняя Фемида с завязанными глазами, пропорционально тому, что кладут на чашу весов. По воспоминаниям современников Ленина в последние годы жизни подбирал кадры для ответственных постов, задавая вопрос: «Сколько врагов вы лично расстреляли?» Лихие кадры, по-видимому, набирались, с кристальной партийной совестью, но с полным подавлением совести просто человеческой. Они не знали, что этот фокус с подменной удается только на время, и что, топ-

*) А. Кузнецов пишет жизнь с большой буквы. Он точно не решается указать на Того, Кто карает — Бог. — (Прим. ред.).

ча свою совесть, они подписывают себе приговор, означающий, как мне думается, фактическое духовное самоубийство личности.

Память хладнокровно сохраняет и затем преподносит человеку, независимо от его воли и часто вопреки его воле, наяву ли, или во сне, события его прошлого — в том числе, особенно, подлые поступки. Как бы он ни убеждал себя, что они не были подлыми, самое, глубинное, самое затаенное или задавленное его «Я» все же знает их цену. Верхнее сознание может даже вполне искренне не знать — подсознание знает. И возникает неотвратимое ощущение угрозы, расплаты. Откуда угроза, какая? Все вокруг благополучно, сложилось прекрасно, полная безопасность, концы спрятаны в воду, следы выжжены и развеяны пеплом — а ощущение УГРОЗЫ не покидает. Уже одна эта смутная, абстрактная, нереальная (но в иных случаях и тем более страшная своей неоформленной смутностью) угроза, сидящая в душе до самой смерти, — на чисто лишает субъекта счастья, а непрерывное напряжение вызывает в психике патологические изменения.

Иными словами, по-бытовому говоря, какое уж там счастье, если нет-нет да и «мальчишки кровавые» в глазах, а неровен час — в советской действительности все может случиться, в один день, одно решение, один указ — и вдруг именно ты загремишь как козел отпущения, почему нет? Это столько раз было, и столько «козлов» трепыхалось — но в ТВОИХ руках, и столько твоих коллег, ничем не лучше, не хуже тебя, в один миг превращались из обвинителей в жертвы. Да, тебе как будто повезло ПЮКА, и в разряд жертв ты так и не перешел ДО СИХ ПОР, и материально как будто бы ничего. НО час ведь неровен. Пока все есть так, как есть — хорошо. А ну, что-то чуть изменится? Объявят своих же коллег, лучших служаек вдруг злейшими врагами — сколько раз это было? Да зачем далеко ходить — ведь уже клонилось, уже как-то начало клониться: «Правда» расхваливала повести про разных эе-ка Иванов Денисовичей, косяками какие-то мемуары реабилитированных пошли, рассуждения, намеки. Можно было в небе призрак петли над головой увидеть. Ну, хорошо, что прекратилось — но надолго ли, насколько прочно прекратилось? Это ведь благодаря старикам, там, у верхов, не отошедшим как ты, от дел, удалось затоптать, завалить открывшуюся щель, но надолго ли их хватит, — стариков-то, сдерживать? А ну, каким-то но-

вым, молодым и уже к прежнему непричастным — покажется политически для себя выгодным вытащить все же тебя на показательный суд? Что тогда твое призрачное везение, зыбкое материальное положение, и так далее? Дым. Мыльный пузырь. Вот так ты живешь, и обречен жить до смерти.

Я думаю, вы согласитесь, что такой, или примерно такой клубок рассуждений не может не шевелиться хоть время от времени в сознании бывшего сталинского палача. При чем это — как минимум, по самой меньшей мере, не прямые угрызения совести, а только простой примитивный страх, постоянно висящая УГРОЗА.

Беру на себя смелость предположить, что если бы каким-нибудь чудом в самой ранней юности всем этим палачам открылось их будущее, этак ярко, осязательно, объемно, по большому счету — и пусть со всей внешне (внешне!) благополучной пенсией старости, и благополучнейшими похоронами, с орденами на подушечкам, на литерном кладбищенском месте — да, да, с самым почетнейшим, благополучнейшим внешне концом! — если бы им открывалась их будущая палаческая жизнь, со всеми подоплеками и последствиями, то большая часть этих юных людей (очень большая часть, а то, может, и все?) круто повернула бы в ужасе, и строила бы свою жизнь иначе.

Нет перед нами такого «кино» в начале пути каждого из нас. Есть бормотание разных стариков да мудрецов, из которых песок сыпется, о какой-то совести, советы жить не по лжи, беречь честь смолоду и тому подобное, которым беспечная молодость внимать не желает, верить не хочет, а когда приходит время, что пора, кажется, все же поверить, то бывает поздно.

(Окончание следует).

Главный редактор: В. Пирожкова

Verantwortlich für den Inhalt:

V. Piroshkova

Адрес редакции: Dr. Vera Piroshkova
Einsteinstr. 104/III
D-8000 München 80
W. Germany
BR Deutschland

Банковский счет —

Банк: Hypotheken- und Wechselbank
8 München, Konto Nr. 2760094318

Перепечатка разрешается, но с указанием источника

АНАТОЛИЙ КУЗНЕЦОВ

СОВЕСТЬ

(Окончание. Начало см. в № 16).

Остается удел страха, ощущение угрозы, изменением в сознании, шизофрениям, паранойям, и не так редко полному умопомешательству. Спросите персонал сумасшедших

домов: сколько у них доживает веку бывших энкаведистов. Я когда-то спрашивал, ответы меня ошеломили и озадачили.

А те, кто не сошел с ума? И до посоха и сумы не упал, а, по обывательскому представлению, живет притеваючи, дом полная чаша, дача за высоким забором, «Волгой» на базар клубнику отвозит и прочее? Если встретите такого бывшего палача, и он вам скажет, не сморгнув, что ни о чем в жизни не жалеет, что прожитой жизнью гордится, доволен, или что он, тем более, счастлив, — не верьте. ЛЖЕТ. И не столько вам, сколько в первую очередь себе: из всех сил себя убеждает, судорожно убеждает каждый день, потому что очень трудно и хитро построенный домик самоуверенный постоянно разваливается почему-то, его нужно укреплять и подстраивать, и заново строить и строить до самой смерти. Своего рода труд Сизифа, так же однообразно повторяем, такой же процесс в границах процесса, такое же наказание.

Из той, как я считаю, меньшей части палачей, кто не сошел с ума, чья личность не развалилась заживо, но уцелела в пределах, так сказать, среднестатистических стандартов, из этих, оставшихся нормальными, что делает большинство, как вы полагаете? Так ведь ПЬЮТ. Большинство этих якобы нормальных — не то что глухие пьяницы, а законченные, кристальные алкоголики. И можно ли их в таком случае считать нормальными?

Древнее наблюдение: совесть отлично топится в вине. И страх тоже, неясные висящие угрозы всякие. Но это одна сторона дела. Топится, пока действует вино, пока сознание искусственно, алкоголем, приведено в состояние оглушения, забыты. Когда действие алкоголя кончается, состояние ужасное, нужен немедленно новый алкоголь, и так без конца.

Организм одних долго этого не выдерживает и безвременно разваливается. Другие в отчаянии спохватываются, или их близкие спохватываются, делают попытки лечения алкоголизма, антабусы и прочее. Здесь любопытно спросить у медперсонала отделений больниц для лечения алкоголиков: сколько прошло через эти отделения бывших энкаведистов. И опять ответ поразителен и озадачивает. Но что лечится-то? Следствие, а не причина. Знаю случаи, когда и приняв антабус, в безумии, ничего не помня, пьют — и как по писаному умирают. А те, чей организм особо долго тянет при беспросветном алкоголизме, представляют,

согласитесь, довольно мрачное зрелище.

В соседнем подъезде дома, где я когда-то жил, обитал один такой типичный алкоголик, энкаведист малого чина на пенсии. Его фамилия была Таран. Этого Тарана никто никогда не видел трезвым. Руки его тряслись, лицо буро-восковое, слюни изо рта. За столом доминошников во дворе его презирали, над ним потешались, но в числе «на троих» за углом гастронома он непременно был — пенсию-то пропивал, рубль и копейки всегда имел.

Дополнительно было известно, что он служил в СМЕРШЕ. Менее внятно он проговаривался, что то ли постоянно был ИСПОЛНИТЕЛЕМ, то ли только от случая к случаю приводил приговоры в исполнение. Но что-то его сильно мучило: может быть, он делал даже большее, чем от него требовалось, или что-то по собственной инициативе делал, чего можно было вообще не делать. Допиваясь до прострации, метался, терзал на себе одежду. Бабушки во дворе качали головами: «Как душа его горит! Как демон его терзает!». Временами он даже катался по земле, пуская пену и брыкался ногами. Это называется «алкогольная эпилепсия».

Этот Таран умер довольно жалким образом. Притащившись как обычно и повалившись на кровать в бессознательном состоянии, он лежал ничком, у него пошла рвота, которую он захлебнул в дыхательное горло — и так задушился. При склонности к символам, эту смерть в собственной блевотине, можно было бы назвать довольно символической.

А иногда они казнят сами себя. Расскажу о трех самоубийствах.

Первое. Я знал случай, когда директор сельской школы (живший, по сельским понятиям, очень хорошо, богато живший) вдруг зарубил топором в кроватях спящих жену и детей — и затем повесился сам на балке в кладовке. Случай был настолько дикий и необъяснимый, что следствие долго доискивалось, не было ли это убийство, искусственно замаскированное под самоубийство. Была одна деталь, из ряда выходящая, трудно объяснимая. Руки висельника были заведены за спину, обвязаны веревкой по запястьям, и эти веревочные кольца соединены и заперты на висячий замок, ключ от которого сколько ни искали, так и не нашли. Но криминалистика как раз знает подобное явление, когда самоубийцы разными хитроумными способами как бы страхуются от спасения, от передумывания

в последний момент, в том числе описаны и случаи запираания себе рук для надежности на замок, с выбрасыванием ключа куда-нибудь в кусты или выгребную яму.

Происшествие, конечно, потрясло село и весь район, его долго обсуждали на все лады, недоумеая: «С ума ли он сошел?» Чего ему нехватало? Дом полная чаша, жил как буржуй, по сравнению с другими, греб откуда мог, льготами пользовался», и так далее. Нет, и алкоголиком не был. Выпивал как всякий здоровый мужчина, на именины, на праздники, крепко выпивал, но держать себя умел, так что водка здесь не при чем. Нельзя предположить приступа временного помешательства (как условно записали, чтобы закрыть следствие и как-то формально объяснить то, что на первый взгляд казалось совершенно необъяснимым).

Но объяснение просилось на поверхность, намеком содержалось в шепоте колхозников, сквозь зубы, по углам: «Собаке собачья смерть». Такое он заслужил, оказывается, (в кавычках) «соболезнование», так, значит, его любили. Он был не только обычным, типичным представителем колхозной, так называемой, «номенклатуры», этой сельской элиты, единственно благоденствующей при бедности и беде остальных, — он еще был нештатным представителем органов безопасности в данном селе, уполномочен был следить за настроениями, писал отчеты. Карьера его началась в сталинские времена. Редкая карьера тогда делалась без доносов. И в своей школе — из сил выбивался, чтобы сделать школу показательной-передовой, липовая успеваемость, барабанный идейный шум, школе постоянно присуждалось какое-то там переходящее знамя. На совещаниях в районе и области директор, конечно, на цыпочках перед начальством танцевал, мановением руководящего мизинца ловил, а у себя в деревне — лев рычащий, конечно, и все в таком роде. О, какое это изнурительное дело. Вся жизнь, без проблеска, во лжи, изворотливости, слежке, интригах и так далее. И хотя бы ради чего-то действительно крупного, а то — директор школы, где-то в глубинной глуши, куда по осеннему бездорожью, бывало, месяцами не было проезда, только трактор и проходил. Вот эта удача в жизни! И так, значит, надо до конца дней отбаранивать, и там же на сельском кладбище почтить. Нет, перспектива у него еще была: говорили, что его прочили в члены ревизионной комиссии обкома, но своим неосмотрительным самоубийством он заставил кого-то возмущенно

поморщиться в обкоме, и гигантское место члена ревизионной комиссии досталось иному счастливцу.

Экстраординарность случая говорит, по-видимому, и о какой-то экстраординарности личности. Видимо, какими-то углами, эта личность вылезла из предписанных шаблонов. И, может быть, ей однажды открылась свирепо-холодная истина. Раз открывшись, уже не уходила. И какой же ледяной она должна была быть, эта истина, если перед лицом ее совершенно невозможно стало жить, и нужно было не только убить себя, но перед этим топором рубить в кроватях жену, детей — род свой убить. Затем обдуманно соорудить петлю, запереть себе руки на замок, сунуть голову в петлю и ногами отбросить табуретку подальше... Вообразите себе, какое душевное мученье, и безвыходное, и бесконечное, могло довести до такого шага. Хотели бы вы такой жизни? С постом директора, и даже члена ревизионной комиссии, домом — полной чашей, переходящим знаменем от райОНО и прочей ЧЕПУХОЙ. Где здесь отыскать хоть след счастья, если оно тут и не ночевало.

Второй случай — не экстраординарный нисколько, личность ничем не примечательная. В Туле, в одном из старых коммунальных домов повесилась простая домовая стукачка. Она была в прошлом детдомовка, то-есть без отца, без матери. Когда выросла — стала обычная гулящая девчонка, в меру воровка, в меру пьянчужка, и по-видимому при приводах в милицию ее быстро привлекли к стукачеству. Родила дочку неизвестно от кого, стала мать-одиночка. Жила в крохотной голой комнатенке — клопы, гнилые половицы, жалкое тряпье. Растила дочку, которую очень любила, и которая была, собственно, единственной отдушиной в ее жизни, работала сторожикой магазина, по совместительству активно стукала на весь дом. Все это знали, в коридорных ссорах кричали ей в глаза: «Стукачка! Сексотка!» Дочка на тульском базаре познакомилась с грузином, привозившим продавать мандарины и лавровый лист, тот на ней женился и увез в Грузию. Казалось бы матери радость, что дочь удачно пристроилась. А она посидела, посидела одна несколько месяцев в своей каморке, среди окликов «Стукачка» — и повесилась. Что особенно мрачно: даже среди самых жалостливых старушек, какими так богата наша Русь, не нашлось ни одной, которая бы ее пожалела: мол, каждый ведь хочет жить, и она, несчастная, как-то хотела, как-то спа-

салась, и что она видела за свою короткую жизнь (повесилась она, когда ей не было и сорока)? Темная жертва советской действительности, имя которых легион. Нет, люди, помнили, скольких она погубила доносами, особенно в войну, и после войны. Она — тоже помнила. Свириная история, вопиющая какая-то. Сколько их, таких, разыгрывается, невидимых миру трагедий — никто никогда этого не подсчитывал и не будет подсчитывать, к сожалению.

Наружу выплывают и становятся широко известными редкие случаи, когда личность была уж слишком знаменита, но и тогда не анализируют, а спешат что-нибудь солгать, чтобы затушевать истинные подоплеку. В этом смысле, как впрочем, и во всех других, можно считать показательным случай с самоубийством писателя Александра Фадеева.

Знаменитый автор «Разгрома» и «Молодой гвардии», лауреат сталинских премий, член ЦК и борец за мир, Александр Фадеев был личностью довольно страшной. Во все годы самых жестоких сталинских расправ Фадеев возглавлял Союз советских писателей, был, так сказать, правой рукой Сталина в области литературы, санкционировал расправы и, возможно, их подсказывал и намечал. Иначе как бы ему уцелеть? С годами Фадеев все больше пил, превращаясь в алкоголика.

После смерти Сталина, во время Хрущевских реабилитаций, Фадеев стал лечиться и совершенно перестал пить. Казалось, все хорошо: он жил в Переделькино на даче, что-то писал, много думал — и одним весенним утром застрелился у себя в кабинете. Два дня понадобилось высшему руководству на обдумывание, как об этом сообщить, и когда, наконец, вышла «Правда» с портретом Фадеева в траурной рамке, в некрологе черным по белому была напечатана неправда: что Фадеев-де покончил с собой из-за алкоголизма.

По случайности я, будучи студентом Литературного института, жил тогда в об-

щезитии в Переделькино, по соседству с дачей Фадеева. Мы студенты, были в числе первых, кто сбежался к фадеевской даче при известии, что он застрелился. Мы знали ряд подробностей. Он оставил на столе два объемистых запечатанных конверта с надписями, на одном: «ЦК КПСС», на другом: «Мой семье». По-видимому, в них заключалось то, что он писал все последние дни. Конверты, как и весь его архив были взяты под стражу КГБ и потом — бесследно исчезли. Жаль. Эти предсмертные письма могли бы быть очень важным свидетельством: что ощущает и что думает бывший палач, приняв решение о самоубийстве — и почему он к этому решению пришел.

Но и без такого свидетельства, независимо от любых объяснений, вот, субъект, достигший максимальной власти в своей области, и славы, и материальных благ, — почему же он пил? А потом не пил? А потом застрелился. Это была счастливая жизнь? О, я не хотел бы иметь подобную жизнь, такой конец; не знаю, кто бы хотел.

Итальянско-немецкий философ Романо Гуардини утверждает, что если у человека нарушена связь с истинной, он заболевает духовно. Он еще не болен, когда лжет и творит зло, но знает, что способен вернуться к совести и правде. Если же с истинной порвана связь без возврата, то человек болен. Внешне он может казаться здоровым и преуспевающим. Но сознательная, без надежды на конец, «двойная жизнь» может оказаться такой невыносимой, что человек даже выбирает смерть. Определение это полностью подходит ко всем трем описанным случаям самоубийств. Но самоубийства — это все же крайний случай, именно, когда личности так невыносимо, что ей даже предпочтительнее умереть. Я думаю, стоит рассмотреть то состояние личности, сотворившей много зла, когда она до крайности НЕ доходит. Когда она со стороны кажется здоровой и преуспевающей. Именно: кажется.

(Смерть писателя оборвала эта ступень).